

Дневной поезд
(роман)

Пролог

Предварительные замечания об убегах в другую жизнь

В Ленинград из Москвы обычно ездили ночным поездом, а в Москву из Ленинграда возвращались дневным. Трудно сказать, почему так, а не наоборот. Но московская богема брежневской эпохи, тогда именовавшаяся интеллигенцией — либо технической (завлабы и мэнээсы), либо гуманитарной с добавлением лестного для нее эпитета «творческая» (хотя творчества она по большей части и не нюхала), этим вояжам придавала особое значение как *убегам* в другую жизнь.

Все-то ей хотелось другой жизни.

Этой жизнью интеллигенция маялась и томила, а вот хотя бы чуть-чуть другая блазнилась ей как некий идеал, казалась пределом мечтаний. Пусть даже не в комнате, а на кухне, где им можно посидеть, не думая о том, что детям пора спать, а жене надо гладить к завтрашнему дню фланелевую блузку, свисающую с гладильной доски, как если бы она была плотью, на которую смотрит с высоты покинувшая ее душа.

И поэтому для интеллигенции так важно, чтобы пребывание в Ленинграде начиналось непременно с утра и можно было сказать, что у них, прибывших ночным поездом, весь день еще впереди. Все впереди — это и есть другая жизнь со всеми ее прелестями...

Московский же день мог оказаться и позади: это никогда уже не волновало. Черт с ним, этим московским днем, поскольку этих дней множество и все они одинаковые, как серое мыло, скучные и бездарные.

Ленинградский же — один, и его надо прожить так, чтобы за него не было мучительно больно, как сказано у такого же классика соцреализма, как, скажем, Пруст или Джойс классики модернизма, а Набоков успел даже во многом предсказать постмодернизм (см. его скандальный роман «Ада, или Радости страсти»).

Но Набокова у нас тогда еще не читали, а классика соцреализма уже не читали, но помнили кое-что по школе. Поэтому фраза о том, что может быть мучительно больно за бесцельно прожитые годы, жгла — прожигала насквозь душевное вещество, словно паяльной лампой, но при этом не запаивало, а оставляло образовавшуюся дыру сквозной, с рваными краями — так что в ней свистел ветер.

Это происходило потому, что фраза-то (фразочка) на поверку оказалась не столько соцреалистической, сколько экзистенциальной — в духе Сартра, Камю и отчасти нашего Бердяева, с экзистенцией же шутки плохи.

Вот богема наша, то бишь интеллигенция брежневской поры свои ленинградские дни тщательно планировала и заранее мысленно (что твой философ Бердяев!) выстраивала, чтобы за них уж никак не было мучительно больно. Отсюда и ночной поезд как предвестник начинающегося с Московского вокзала и Невского проспекта утра.

Впрочем, может быть, все и проще: не хотели вторую ночь проводить на вагонной полке, без конца переворачивая подушку и пытаясь заснуть под стук колес и звяканье ложек в пустых стаканах из-под чая. Не хотели, и все тут, или была еще какая-то причина, но так уж повелось: в Ленинград ночным, а в Москву — дневным.

Если бы Ленинград уже тогда был Санкт-Петербургом, то, возможно, никакой экзистенции и не возникало бы, поскольку у нас эта экзистенция, как нирвана у буддистов, зыбилась и мерцала (фосфоресцировала) именно на тряской болотной почве затухающего социализма.

Вот мы, однако, и добрались до буддизма и даже упомянули нирвану, которая, как известно, и есть затухание всего экзистенциального, мучительного и бесцельного.

Иными словами, того, что мы, как интеллигенция все же творческая, не лишенная воображения, можем сравнить с тем же ночным поездом, блуждающим в потемках порочного круга бытия, именуемого сансарой. А коли уж

Леонид Бежин

оно, порочное-то бытие, затухло, то мы вправе ждать, что воссияет нечто совсем иное, освобождающее от сансары, лучезарное и ликующее, блаженное и счастливое.

Иначе говоря, то, что превращает нас в пассажиров дневного поезда, конечная остановка коего даже не Ленинградский вокзал (наряду с Ярославским и Казанским на площади трех вокзалов), а — сама вечность.

Вот об этом дневном поезде мы по мере сил и расскажем. При этом нам придется вспомнить Индию, а вместе с нею Китай, Японию и Тибет — вспомнить как предварительные остановки нашего дневного поезда, обозначенные в расписании. Если кого-то смутит, что мы слишком отделимся от нашего отечественного православия, то спешим его успокоить: это отдаление — всего лишь мнимость, иллюзия, один из ложных миражей и фантазмов, коими так богат наш несовершенный мир.

И на самом деле отдаляемся мы для того, чтобы вернее приблизиться.

Часть первая

Глава первая

Роскошно буддийское лето

Ночной поезд Москва — Ленинград подали необычно рано — за сорок минут до отправления, что имело свою причину, о коей, впрочем, никто не догадывался. Лишь некоторые из пассажиров, бывавшие в Ленинграде особенно часто и привыкшие как к опозданиям поездов, так и к их подаче загодя, высказывались на этот счет. Они полагали, что, наверное, этим поездом едет весьма важная персона, поэтому к ее прибытию сочли нужным подготовиться заранее.

Но что это за персона и в каких она рангах, они, конечно, предположить не могли, а могли лишь позволить себе шуточку, не бог весть какую, но из числа типично интеллигентских, приправленных если не гоголем-моголем, то гогольком.

Мол, скорее всего, этим поездом едет ревизор с секретным предписанием.

Хотя им тотчас возражали, что *тот* ревизор послан из столичного Петербурга, а *этот* поезд направляется в Петербург, то бишь в Ленинград, из Москвы.

Словом, ревизор вообще отпадает, а кто его может заменить — известно одному Богу и соответствующим бдительным органам, не ко сну будь помянутым.

К тому же и вагон оцеплен, и в него никого не пускают. А ради ревизора, хоть и с каким-то там предписанием, вагон оцеплять не стали бы, и не только потому, что ревизор все же мелкая сошка. Ревизоры — не только гоголевские, но вообще ревизоры — склонны окружать себя

некоей таинственностью, закутываться в плащ, скрывающий подбородок, и уж во всяком случае предпочитают соблюдать инкогнито, а не трубить о себе на всех углах.

Таким образом, пошутили и буде. Интеллигентское остроумие лучше приберечь для более удобного случая и другой погоды, поскольку эта не слишком подходит. Как-никак лето в разгаре, причем не какое-нибудь, а, по словам поэта, чьим именем названа не то улица, не то яма, — буддийское.

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.

Строка впрямь для нашего романа...

Роскошь нашего лета в том, что днем бывает до ванильной пряности душно, да и к ночи жара не спадает, временами дышать нечем, а это явно к грозе — если и без оглушающих раскатов грома, то с посверкивающими багровыми вспышками-зарницами в ночной аспидной тьме.

К тому же на дворе 1979 год, расцвет брежневского декаданса (если у декаданса бывает расцвет) и время пребывания в Москве важного гостя из Тибета, Его Святейшества и носителя прочих почетных титулов... Впрочем, не будем торопиться: имя важной персоны раскроется само собой. Как говорится, по ходу нашего повествования...

Бритоголовые, в желтых одеяниях

Мы же с душного ночного перрона Ленинградского вокзала перенесемся в одно из купе загодя поданного поезда. Там мы обнаружим самого раннего, первым пришедшего пассажира, сидящего на самом краешке нижней полки, еще не застеленной бельем: скатанный валиком матрас стоймя стоит в головах, словно бурдюк с вином, коему суждено быть пропоротым копьём хитроумного идальго Дон Кихота.

Не уверен, что это сравнение здесь уместно, но раз уж оно нами использовано, то бог с ним, пусть остается — право, не вычеркивать же...

Но все-таки следует учитывать, что «Дон Кихот» — каприз и шалость европейского ума, наше же повествование тяготеет к Востоку, причем Востоку, как уже вскользь замечено, буддийскому, где Дон Кихоты решительно невозможны по причине их страстной одержимости, несовместимой с лучезарным бесстрашием самого Совершенного из рода Гаутамы.

Однако для тех, кто одарен любознательностью, нелишне будет добавить, что аналогию Дон Кихоту мы обнаруживаем и в мусульманском мире. Там поэт-бедуин Кайс ибн аль-Мулаувах получил второе имя Маджнун — Одержимый. И все из-за того, что он одержим любовью к прекрасной Лейле, чьи девственные груди и просвечивающий сквозь прозрачные ткани нежный пупок и впрямь доведут до безумия всякого.

Подобные сведения любил приводить в своих романах, сжатых по размерам до маленьких рассказов, аргентинец Хорхе Луис Борхес.

Мы же, русские, чаще умудряемся рассказ превратить в роман, описывая на многих страницах, как некий Илья Ильич Обломов любит лежать на своем диване и отдаваться сладостным грезам: «а хорошо бы, если бы вот это делалось». Этот Обломов и есть наш Дон Кихот, сражавшийся с безносыми великаншами — Праздностью и Лениью.

Кстати сказать, замысел нашего романа тоже причудливо возник из рассказа, но это так, между прочим, а *gringos*, как говорят французы (хотя лучше бы они побольше молчали).

Но вернемся к нашему пассажиру. На коленях он держит не лишенный элегантности и академической респектабельности портфель, окантованный черным шнуром, с никелированными уголками. Правда, этот портфель несколько утратил форму (стал заваливаться набок, этакий Набоков), поскольку он использовался не только для того, чтобы во время лекций возлежать на дубовой университетской кафедре, но также по хозяйственным нуждам.

Что поделаешь, и академики, как простые смертные, подчас заглядывают в гастроном, чтобы купить свежую

булку (ленинградцы, впрочем, любой белый хлеб называют булкой) и нарезанный тонкими ломтиками сыр с дырками, проеденными прожорливыми мышами.

А уж профессора и доценты — в гастроном-то — и давно...

Одет наш пассажир несколько странно; во всяком случае, не по летней погоде. А именно: на нем наглухо застегнутый двубортный черный костюм, какой обычно носят похоронные распорядители, и такого же траурного цвета фетровая шляпа по моде пятидесятих годов, явно извлеченная из самых задов гардероба и от жары немного взмошшая по кругу, очерченному массивной, с львиными космами, седеющей головой нашего пассажира.

На крупном бульдожем носу у него насажено пенсне. Несколько монгольское, широкоскулое лицо украшает заостренная книзу борода — опять же с искорками седины.

Впрочем, воссоздавая его облик, я ловлю себя на мысли, что это портретное описание в дальнейшем окажется лишним и нам не понадобится, поскольку ничего существенного не добавит к ходу повествования. И то сказать: за бесчисленные циклы предыдущих рождений и смертей наш герой сменил такое множество внешних обликов (был и муравьем, и бездомной собакой, и почитаемой всеми священной коровой, и пупырчатой жабой с отвисшим зобом), что нет никакого смысла подробно описывать один из них, случайно выхваченный по нашей прихоти из тьмы времен.

Зато весьма значимой для нас окажется странная металлическая капсула в руках у пассажира.

Капсула, состоящая из двух свинченных половинок и помещенная в ременный футляр наподобие термоса, который романтические и сентиментальные немецкие путешественники позапрошлого века носили с собой на плече. Для утоления жажды.

Однако наш пассажир не мог себе позволить поступить так же фамильярно со своей капсулой и носил ее не на плече, а прятал в портфель. Впрочем, иногда доставал,

осматривал со скорбным выражением простого и одновременно изысканно-красивого, даже аристократического лица, с подбородком, украшенным седеющей профессорской бородкой.

Однако читатель может поймать меня на противоречии: широкоскулое монгольское лицо вдруг оказалось у меня изысканно-красивым, бородку же я упомянул дважды и по-разному. Причина моей оплошности та же: у человека не один, а несколько обликов, сменяющихся в зависимости от настроения, погоды, освещения и множества внешних обстоятельств.

Впрочем, это лишнее, лишнее...

Лучше еще немного сказать о портфеле. На его кожаном языке, перекинутом через главный хребет, словно веревочные лестницы Суворова при восхождении на альпийские кручи, имеется замочек, вставляемый в особое гнездо и запираемый на ключ. Ключик этот пассажир носит на красной витой веревочке, обмотанной вокруг запястья.

Причем на веревочку нанизаны бусинки, придающие ей сходство с четками, кои он иногда бессознательно или, напротив, осознанно и даже сосредоточенно, с закрытыми глазами (самоуглубленно) перебирает.

Вот и сейчас он стал рассеянно перебирать свои четки. Затем бережно поставил свой портфель на багажную полку. Но что-то его не удовлетворило, и он вернул портфель в прежнее положение на коленях. После этого повесил на плечики пиджак, но при этом остался в черной шляпе, как хасид, никогда не снимающий своей ермолки.

Хотя билет у него на нижнюю полку, он не стал располагаться на ней ко сну.

Не стал, во-первых, потому, что спать не хотел и был озадачен, смущен, даже несколько взбудоражен одним обстоятельством чрезвычайного толка, приключившимся с ним на платформе, где к нему подошли трое бритоголовых монахов в желтых одеяниях, с обнаженным правым плечом — из числа сопровождающих важную персону. А во-вторых... во-вторых, он хотел дожидаться всех

пассажиров купе, поскольку часто случается так, что нижнюю полку — из церемонной профессорской учтивости — приходится кому-то уступить.

С точки зрения мэнээса

Все поезда похожи друг на друга, как счастливые семьи. Похожи тюками и чемоданами, трясущимися на багажных полках, ломающейся в стакане с чаем и позвякивающей под стук колес ложечкой из серебра высшей пробы (шутка), которую ненароком украсть — себе дороже, поскольку она ровным счетом ничего не стоит, а если все же имеет цену, то с отрицательным знаком.

Похожи жареной курицей, завернутой в промасленный пергамент. Похожи слоеными пирожками, от которых шибает в нос яйцом, печенкой и жареным луком. Похожи спаренными кусочками сахара в бумажной облатке с изображением несущегося тепловоза — рекламой отечественных железных дорог, и прочей ерундой, не заслуживающей упоминания.

И лишь те, кому хоть раз посчастливилось быть пассажиром ночного поезда Москва — Ленинград, со мной согласятся: он имеет неповторимую особенность несчастливой семьи, отличающую его от прочих поездов. Этим поездом ездит преимущественно джинсово-свитерная, стоптанная и драная советская интеллигенция без тюков и чемоданов, которой лишь бы забраться на верхнюю полку, отвернуться от всех, заснуть, забыть своих Танечек и Машенок, голодными комарихами высасывающих из них кровь, и проснуться...

Проснуться если не в свободной Европе или райской (с точки зрения завлаба и мэнээса) Америке, то в Ленинграде, хоть обшарпанном, запущенном и обрыдлом, но все же чем-то напоминающем Венецию, какой ее изображают на еще не разворованных полотнах, увешивающих стены Эрмитажа.

О, интеллигенция брежневской поры, любящая сидеть на своих кухоньках и сравнивать собственную зарплату с зарплатой европейских или американских собратьев по классу, — поистине ничего нет комичнее, претенциознее и завистливее!.. Хотя справедливости ради следует заметить, что ночным поездом ездит и творческая элита, знаменитости, народные артисты — те, кого узнают на улицах.

Ездят и влюбленные парочки — погулять по набережным Невы. Ну и прочая публика, вовлеченная в круговорот сансары, коей все равно куда ехать, лишь бы не сидеть на месте и не предаваться созерцанию истинной природы вещей...

Между тем вагон постепенно заполнялся. Пассажиры были довольны, что не надо стоять на платформе, ждать прибытия поезда, а затем вламываться в вагон, спеша, отесняя и расталкивая друг друга, пока поезд, простояв всего лишь две минуты, не тронулся с места.

Но вот какой любопытный и отчасти загадочный парадокс: не надо вламываться, а все равно ломались, отесняли и расталкивали, словно без этого не могли не только жить, но и постигнуть, что в бурях есть покой и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг.. ну и так далее и тому подобное.

Но не будем сейчас об этом, а лучше вернемся к картине лома и дополним ее двумя-тремя штрихами. Слышались голоса ломящихся, топот и шарканье ног, гроыхание раздвигающихся дверей — словом, все те звуки, коими сопровождается взятие крепостей, бастионов и вагонных купе, заранее готовых сдать перед натиском безумной толпы.

Триста тридцать три

В купе нашего пассажира между тем мимоходом заглянула девушка — высокая, худая, немного нескладная, с рыжей метелкой волос на лбу, подкрашенными оранжевыми ресницами и сережками в веснушчатых

мочках ушей. Она была явно из разряда тех, кого называют милыми и добрыми, пока не узнают их получше и не убедятся, что они... действительно милые и добрые, какими показались вначале, и еще с множеством разнообразных достоинств, кои выглядели как недостатки, но природная простота и естественность обратила их именно в достоинства.

Девушка немного замешкалась, видимо еще не решив для себя, остановиться ли ей на время или проследовать дальше по коридору. Но, случайно встретившись с пассажиром взглядом, слегка шарахнувшись от его необычного траурного облачения, смутилась и отвернулась, чтобы вторично посмотреть на него хотя и не без робости, но так, как подобает при встрече, обязывающей к большей серьезности и вежливому вниманию.

— Вы не скажете, двадцать первое место здесь? — спросила она, готовая ринуться дальше по проходу, если не получит утвердительный ответ на свой вопрос.

— Нет, в следующем купе.

— А здесь какие места? — Девушка придирчиво изучала номера мест на стенках купе, как вахтер при входе наставительно-строго изучает протянутые ему пропуска.

— С семнадцатого по двадцатое, — немного заикаясь, произнес пассажир, раз уж вопрос был задан, хотя теперь он отпал за ненужностью, поскольку она сама могла на него ответить.

— Ага, четыре умножить на пять — двадцать. — Она занялась сложными математическими вычислениями. — Значит, это пятое купе, а мое — шестое. Будем с вами соседями. Меня зовут Капитолина.

— А меня Герман Прохорович. Фамилия моя Морошкин. Очень приятно. Заходите. — Он приподнял над головой шляпу и, скользнув по ней глазами, не мог не поддаться мысли, что она — вместе с его костюмом — выглядит немного устрашающе для столь юной особы. Поэтому он счел нужным с принужденной улыбкой (улыбочкой) заметить: — Пусть вас не пугает мой вид...

— Что вы, что вы! Я не из пугливых, — сказала она, не очень-то себе веря, но усиленно стараясь, чтобы он ей поверил. — А морошка, вообще-то, очень полезная ягода. Заживляет раны, снимает воспаления, останавливает кровь при порезах.

— Вот и отлично. Так зайдете?

— Я же сказала...

— Правда зайдете? — Ему понадобилось более надежное подтверждение.

— Непременно зайду, а то я не люблю быть одной, вы же здесь такой одинокий... в темноте, без света...

— Сейчас зажгу.. тут в головах есть фонарик.

— Не зажигайте, если вам так нравится, — сказала девушка, равнодушная к тому, что нравится ей самой и безучастная ко всему, что может нравиться странному пассажиру.

— Но, может быть, ваши попутчики по шестому купе окажутся для вас более интересными собеседниками, чем я? Вы не допускаете?

— Все равно. Раз я обещала...

— Похвально, что вы держите слово, — сказал Герман Прохорович, стараясь не заикаться и именно поэтому немного заикаясь.

— А вы меня не хвалите. Терпеть не могу, когда хвалят. Лучше уж ругайте.

— Это почему же?

— Потому что меня всю жизнь только и ругают. Я привыкла.

— Вы как Золушка из того старого фильма. Ее обидели двадцать четыре раза и из них напрасно — двадцать четыре раза. Ха-ха-ха! — Впервые за время их разговора он рассмеялся — рассмеялся так, словно его что-то развеселило из того, что никогда раньше не казалось смешным.

— Помню, помню. Смотрела. Она триста тридцать три раза заслужила похвалы, но ее ни разу не похвалили. — Девушка тоже рассмеялась, хотя это не удержало ее от признания: — Да, к несчастью, это я. Прошу любить и жаловать.

СЫН

— Присаживайтесь. Хотя бы на минутку — куда вы спешите. Ваше место в соседнем купе от вас не убежит. Зато я на вас посмотрю. — Герман Прохорович озаботился тем, чтобы Капитолина села, но не рядом с ним (так лицезреть ее было бы неудобно), а напротив, на краешек нижней полки. — Зачем вы едете в Ленинград? Впрочем, извините... я как-то сразу..

— Ничего, ничего. Ваш вопрос вполне уместен. Раз уж я Золушка, то я еду.. — она поправила на плечах вообразимые банты бального платья, — во дворец. На бал.

— Интересно. Что же это за бал? Балы сейчас как-то не особо приняты.

— Ну не бал, а торжественное посещение одного места. Одного дворца. — Она уже забыла про бал, но старалась убедить его, что все-таки не зря упомянула про дворец.

— И что же в этом дворце?

— Картины, картины, картины. — Капитолина очертила руками некий незамкнутый круг, словно и он не мог бы вместить всех упомянутых ею картин.

— Вероятно, вы едете в Эрмитаж. — Герман Прохорович указал пальцем в точку, где сходились концы высказанной им догадки.

— Угадали. Я ни разу в жизни не была в Эрмитаже. И вот решила побывать. Накупила разных каталогов, вооружилась лупой и стала изучать. А то живешь в своем Одиночестве и ничего не видишь.

— Похваль... — он прикрыл ладонью рот, стараясь справиться с заиканьем. — Извините, это у меня с детства. К тому же совсем забыл, что вас нельзя хвалить.

— За это можно. Хвалите. Хоть все триста тридцать три раза. Я заслужила. А почему вы одеты во все черное? Впрочем, простите меня: об этом, конечно, не спрашивают. Или спрашивают лишь такие дурочки, как я.

Он не стал убеждать ее в том, в чем она была явно права. Но Капитолина, подумав немного, повторила свой вопрос: